

**География места работы и проживания:**

Страны — 8, в т.ч.: Россия — 212 чел.; Украина — 18 чел.; Казахстан — 5 чел.; Азербайджан — 2 чел.; Белоруссия — 2 чел.; Япония — 1 чел.; Греция — 1 чел.; Киргизия — 1 чел.

Города — 66, в т.ч.: Москва — 70 чел.; Воронеж — 11 чел.; Омск — 10 чел.; Санкт-Петербург — 9 чел.; Казань — 8 чел.; Пермь — 8 чел.; Краснодар — 7 чел.; Уфа — 6 чел.; Екатеринбург — 5 чел.; Киев — 5 чел.; Бишкек — 4 чел.; Симферополь — 4 чел.; Курск — 3 чел.; Магнитогорск — 3 чел.; Новосибирск — 3 чел.; Тамбов — 3 чел.; Чебоксары — 3 чел.; Баку — 2 чел.; Белгород — 2 чел.; Волгоград — 2 чел.; Запорожье — 2 чел.; Днепрпетровск — 2 чел.; Ростов-на-Дону — 2 чел.; Самара — 2 чел.; Саратов — 2 чел.; Ставрополь — 2 чел.; Ульяновск — 3 чел.; Тверь — 2 чел.; Харьков — 2 чел.

Вузы — свыше 70 (240 чел.), в т.ч.: МГУ им. М.В. Ломоносова — 18 чел.; СПбГУ — 6 чел.; КубГУ (г. Краснодар) — 6 чел.; ОмПГУ (г. Омск) — 5 чел.; УрГУ (г. Екатеринбург) — 5 чел.; ВГУ (г. Воронеж) — 4 чел.; ВГМА (г. Воронеж) — 4 чел.; КНУ (г. Киев) — 4 чел.; ПГПУ (г. Пермь) — 4 чел.; ПГУ (г. Пермь) — 4 чел.; ТНУ (г. Симферополь) — 4 чел.; БашГУ (г. Уфа) — 3 чел.; Казанский госуниверситет — 3 чел.; КГУКИ (г. Казань) — 3 чел.; МГСУ (г. Москва) — 3 чел.; ММА им. Сеченова (г. Москва) — 3 чел.; ОмГУ (г. Омск) — 3 чел.; ТГТУ (г. Тамбов) — 3 чел.; ЧувГУ (г. Чебоксары) — 2 чел.; ДВГУ (г. Владивосток) — 2 чел.; КазНУ (г. Бишкек) — 2 чел.; Магнитогорский ГУ — 2 чел.; МГТУ им. Баумана (г. Москва) — 2 чел.; РАГС (г. Москва) — 2 чел.; РГУ (г. Ростов-на-Дону) — 2 чел.

Около 15 человек представляли различные академические учреждения России и стран СНГ.

**Профессиональные и должностные характеристики:**

Занимаемые должности: студенты — 12 чел.; аспиранты — 22; докторанты — 8 чел.; лаборанты — 3 чел.; преподаватели — 46; доценты — 56; профессора — 21 чел.; научные сотрудники — 17 чел.; заведующие отделом (сектором, лабораторией) — 10 чел.; заведующие кафедрой — 27 чел.; деканы (зам. деканов) факультета — 4 чел.; проректора вузов — 4 чел.; директора, зам. директоров (НИИ, филиала) — 11 чел. Ученое звание: доценты — 46 чел.; профессора — 23 чел. Ученая степень: кандидаты наук — 114 чел.; доктора наук — 41 чел.

Результаты опроса будут опубликованы в следующих выпусках журнала. Читайте и выписывайте наш журнал. Напоминаю Вам, что подписной индекс журнала в агентстве «Роспечать» остается прежним (79734).

Юрий Резник

## ✦ Классическое наследие

ДЖЕЙКОБ ГРУББЕР

### ПРЕДШЕСТВЕННИКИ (фрагменты)\*

#### Глава 2

#### Введение

Уже к последней четверти XIX столетия антропология во многом приобрела современные форму и сущность, направленность на понимание. Основное развитие полевых исследований все дальше уводило ее от поисков приключений или коллекционирования экзотики; группы — хотя и небольшие — профессионалов поддерживали связи друг с другом, все более расширяя свое международное сообщество; с неослабевающим интересом обсуждались проблемы метода и предметной области; во имя интересов профессиональных групп учреждались журналы; узаконенными стали учебные курсы в университетах; и сам термин «антропология», хотя и понимался по-разному, подразумевал научное направление изучения человеческих феноменов на генерализованном уровне теории или теорий. Таким образом, антропология, как и другие социальные науки, стала самостоятельной дисциплиной, особое название которой означало признание значимости изучаемых проблем. За исключением относительно мелких деталей временного характера, антропологические задачи того периода серьезно отличались от современных, и хотя объем научной литературы с тех пор значительно вырос, это никак не указывает на качественный сдвиг допущений, устанавливающих границы дисциплины. На самом деле, постоянный интерес к «классике» антропологии может указывать на ее признанность и значимость для решения сегодняшних задач, а на ее зрелость — интерес к истории.

В течение указанного периода столетие назад практика обозначения области исследования уже существовала, причем ее прежние определения мало отличаются от тех, с которых обычно начинаются современные тексты. Например, в 1884 г. де Мортилье (de Mortillet) дал следующее определение антропологии в своем предисловии к первому номеру нового журнала «L'Homme», кото-

\* См.: Main currences of cultural anthropology. Eds. R.Neroll, F.Neroll / Meredith Corp. N.Y. 1973, 420 p. Перевод главы "Forerunners". P. 25-56.

рый был создан, чтобы освещать развитие нового систематизированного поля исследований: «Цель антропологических наук — полное понимание человека». Эти науки, образующие вместе согласованную сферу знаний, включают:

1. Собственно антропологию или естественную историю человека, включая эмбриологию, биологию, психологическую физиологию и человеческую анатомию.
2. Палеоэтнологию или предисторию: происхождение человека и его существование в глубокой древности.
3. Этнологию: распределение людей на Земле, изучение их обычаев и поведения.
4. Социологию: взаимоотношения людей между собой и с другими животными.
5. Лингвистику: образование языка, связей или родства языков, легенд, мифов и фольклора.
6. Мифологию: развитие религии, формирование, история и взаимовлияние религий.
7. Медицинскую географию: воздействие климатических и атмосферных явлений; географические и этнографические патологии.
8. Демографию: статистические данные о человечестве.

С небольшими изменениями в терминологии такое описание вполне соответствует традиционному определению антропологии, которое лишь недавно было поставлено под сомнение.

В том же 1884 г. в Соединенных Штатах Америки Отис Т. Мэсон (Otis T. Mason) в отчете о состоянии антропологии для Смитсоновского Института также указывает на ее разнородность. По его мнению, область антропологии включает в себя изучение происхождения человека, археологию, биологию (т.е. антропометрию), психологию, этнологию (т.е. описание отдельных народов в их историческом разнообразии), сравнительную филологию, мифологию и фольклор, технологию и социологию. Подчеркивая, что такая, возможно, неправомерная всеохватность — это не только американская особенность, он приводит цитату из речи, произнесенной в том же году президентом Королевского Антропологического Института Флауэром (Flower), где подчеркивается, что «одной из самых больших трудностей, связанных с выделением антропологии как специфичной предметной области изучения специальной организацией ее развития, является разнообразие отраслей знания, объединенных под этим названием»<sup>1</sup>. Тем не менее антропология для Флауэра, как и для его современников, являлась наукой о человеке в целом, исследованием его происхождения и связи с окружающим миром, задачей, успешное решение которой требовало сведения в единое целое различных направлений исследования — от физических до поведенческих характеристик.

<sup>1</sup> Flower W.H. Essays in museums and other things connected with natural history. London, 1898. P. 250–251.

И в то время, и сегодня особая, «неосознанная» грань между физическим и культурным, между прошлым человека и его современной культурой составляет сущностное основание для антропологии в ее сегодняшнем понимании. Внутренние противоречия, которые так часто обнаруживались в отношении метода или цели — противоречия такого локального характера, что теряли смысл с течением времени и сменой исследователей — способствовали лишь отвлечению внимания от неделимости всего поля исследований и согласия относительно его целей, обеспечивающих непрерывность традиций. Человек и природа, прошлое и настоящее, культура и культуры — это те параметры существования человечества, которые, как учат современного студента, определяет и изучает антропология.

Это именно та традиция, которая особо значима для настоящего времени, хотя в разделах данной книги обсуждается лишь ее часть. Но это особая традиция, она имеет собственную естественную историю. Несмотря на самождественность, она возникла на основе ранних, иногда менее явно выделяемых и часто весьма далеких друг от друга традиций, связанных с поиском знаний и понимания условий жизни, природы человека и его места в естественном окружении.

С сегодняшней точки зрения масса наблюдений, осуществленных в прошлом и произвольно называемых антропологическими по причине их экзотического характера, кажутся потоком случайных необычных деталей, бесцельным и неупорядоченным, порожденным, за редким исключением, лишь любопытством наблюдателя<sup>2</sup>. Эта точка зрения не столько артефакт для современного наблюдателя, сколько указание на отсутствие определенной проблемы, в которой как в зеркале отражается этот порядок. Кабинет коллекционера от научного обобщения отличает именно обобщенность проблемы, которой подчиняются поиск и характер данных. Многие из интересных деталей как результата непрерывной истории записей о культурных контактах представляют только интерес, но не проблему; отдельные наблюдения по-

<sup>2</sup> За исключением Маргарет Ходген (Margaret Hodgen), которая обработала данные по XVI и XVII вв., никто не сумел успешно организовать обширное поле фрагментарных и всегда отличных друг от друга данных в единое понятное целое. Компендиум источников и выдержек Слоткина (Slotkin, 1965) является очень полезным, но он носит в большей степени энциклопедический, чем синтетический характер, являясь, по сути, пролегоменом к истории в большей степени, чем самой историей. Его сопутствующие комментарии, так же, как и обширность его знаний и глубина понимания, напоминают о том, как значима книга (или книги), которые он, должно быть, написал в течение жизни. Географ Кларенс Глакен (Clarence Glacken) в 1967 г. предприняла достаточно успешную попытку упорядочить некоторые данные из периода классических времен XVIII столетия, связанные с областью взаимоотношений между культурой и природным окружением. Это ценная книга для историка, изучающего представления о человеческом поведении, она расширяет наши знания и понимание длительной истории того, что составляет современную антропологическую тематику.

добны бусинам без нитки, которая превращает их в ожерелье. Несмотря на то, что эти детали использовались — и иногда очень успешно — позднее, в проблемно-ориентированной антропологии, сами по себе они так же, как и их собирательство, в лучшем случае представляют «доисторическую» фазу развития дисциплины вне зависимости от того, когда это происходило.

Тем не менее в течение всего XVIII в., пока собирались эти данные и определялся тот взгляд на мир, который породил осознанную, проблемно-центрированную науку о человеке, всесторонний интерес к нему породил генеральные позиции, составившие фундамент для устойчивых проблем и подходов в современной этнологии. В тексте этой статьи и в историческом контексте я считаю полезным обозначить два таких акцента, каждый из которых имеет свою историю и сегодня еще служит неким притягательным центром для текущей этнологической деятельности. Далее я хотел бы показать, что слияние таких исторически различных традиций обусловило наличие области «ошибочных направлений», постоянно порождающей концептуальные конфликты и дискуссии в определении целей и методов антропологии. С исторической точки зрения эти акценты или направления помогают внести некоторый порядок в хаос данных, а также в деятельность, имеющую антропологический характер, но не имеющую антропологической цели. Другой подход к этому раннему периоду позволит лишь перечислить имена и работы, значение которых для понимания истории развития области едва ли выше, чем их ценность для понимания человечества как такового.

Эти различные традиции, разумеется, как и сама антропология, проистекают из того, что можно считать универсальным человеческим интересом и отношением к различиям среди людей. Выявление разделяемых черт, отличающих одни совокупности людей от других, и есть та общая стартовая точка всей антропологической деятельности, хотя в зависимости от исторических обстоятельств менялись возможности культурных контактов, позволяющих убедиться, что эти различия могут существовать и действительно существуют. При распутывании сплетения нескольких нитей, образующих текстуру современной антропологии, прежде всего необходимо и полезно провести различие между понятиями «обычай» и «культура», которые использовались для описания характерной системы поведения, по общему соглашению считавшейся отличительным признаком человечества как вида. В любой теории, относящейся к области исследования происхождения человека и его места в животном мире, человек, с точки зрения обыденной антропологии и ее утонченной научной версии, считал себя обладателем чего-то особенного и уникального; и этот особый атрибут носил поведенческий характер, каким бы понятием он ни был представлен — душа, разум, самосознание, божественное. Хотя человеческие группы всегда интересовались своим происхождением и шире — происхождением человека, этот интерес в меньшей степени относится к физическому происхождению, чем к поведенческим корням; и хотя взаимосвязь чело-

века и всего органического мира, его животная сущность всегда интересовали человечество, именно поведение считалось его особым даром. При более пристальном изучении именно различия в поведении индивидов или человеческих групп отмечались как особо важные, хотя и физические отличия между ними не оставались незамеченными. Когда человеческие группы называли себя «люди» или «настоящие люди» для того, чтобы отличать себя, для обозначения человеческой природы они использовали именно характеристики поведения, а не физические отличия, часто просто игнорируемые. Традиции отбора и использования данных о таких различиях могут быть эвристически обозначены как 1) описательно-этнографические и 2) культурно-систематические. В их соединении в течение первой половины девятнадцатого века мы можем увидеть самые ранние признаки развития антропологии как науки, хотя большую часть этого периода они двигались разными курсами и имели дело с разными задачами. Несмотря на то, что интерес к историческому развитию — в отличие от генеалогических построений — привел позднее к концептуализации истории, именно эти два ранних и в общем-то синхронных подхода составляют наиболее старые традиции. Они отражают скорее социологическую, нежели историческую ориентацию, но их интерпретации человеческого поведения или подходы к нему неодинаковы. Они определяются различием между понятиями «обычай» и «культура».

Какими бы ни были представления о физических особенностях человека, теории о его происхождении — а они также входят в круг антропологических проблем и перспектив, — именно поведение человека, особенно то, что заметно отличает одну группу людей от другой, в рамках западной интеллектуальной традиции рассматривалось как сущностный отличительный признак человечества как единицы анализа. А в рамках этой единицы можно наблюдать поведенческие различия или институциональные особенности, которые сами по себе являлись показателями различий между группами людей. Это могли быть различия в одежде, религиозных отправлениях, в сексуальном поведении или в кулинарных предпочтениях, которые бросались в глаза и вызывали интерес наблюдателя и могли быть легко зафиксированы в качестве отличительных для данной группы. Такие детали поведенческих характеристик групп называются «обычаем», и именно в этом понимании термин широко использовался в XIX в. Тем не менее можно по-другому рассматривать поведение группы людей — как систему, где необходимость в согласованности действий унифицирует тех, кто их выполняет и таким образом становится организованным социальным целым, единицей, совпадающей с социальной группой как таковой. Совокупность обычаев, представленная в виде системы, может рассматриваться как «культура», так и считалось с конца XIX в. Принимая во внимание различия в человеческом поведении, мы определяем понятие культуры как систематического объединения черт поведения, которые в своем единстве определяют — и посредством этого

создают — нацию, человеческую группу, или самодостаточную этническую единицу. Если разделить систему поведения на фрагменты и подчеркнуть их детали, мы начинаем узнавать понятие обычая. Обычай и культура — деталь и система — это два полюса исследований, побуждаемых как признанием различий в человеческом поведении, так и необходимостью их контроля благодаря пониманию системы, придающей им значение.

При рассмотрении истории антропологии дихотомии этих двух понятий и порождаемые ею исследовательские акценты бросаются в глаза. В качестве осознанного противопоставления «эмическое — этическое», возможно, и представляет собой нечто новое с точки зрения принятой сегодня позиции наблюдателя, но различия подходов глубоко уходят корнями в долгую историю изучения человеческих различий.

### Обычай

Для выявления времени возникновения антропологических традиций самым верным источником является Геродот, причем не только по причине его проницательности как наблюдателя и умения собирать информацию об условиях человеческого существования, но и потому, что случайно его классические труды сохранились нетронутыми и при общем разрушении корпуса греческих письменных источников.

Зрелость Геродота совпала с «золотым веком» классических Афин в середине V в., с временами между персидскими войнами, которые подвергли испытанию их независимость и отточили идеологию, если не практику свободы, с одной стороны, и долгим разрушительным конфликтом со Спартой, в течение которого Афины утратили свои моральные позиции в потоке имперских притязаний — с другой. «История» Геродота в буквальном смысле является исследованием. Это исследование природы, обстоятельств и значения персидских войн, которые стали потом для европейской истории символом противопоставления культур Востока и Запада и примером успешного сопротивления институтов Европы азиатским<sup>3</sup>. Совершенно не обязательно принимать во внимание те очевидные различия между демократией Запада и деспотизмом Востока, которые Геродот столь постоянно и живо отмечал и оценивал, видя в

<sup>3</sup> Контраст между Востоком и Западом, между «деспотическим» характером азиатских политических институтов и «демократией» свободных граждан греческого города-государства, по-видимому, был распространенной темой, значимость которой подчеркивалась длительной угрозой персидского доминирования и неожиданно успешного сопротивления ей Греции. Об этом говорится в медико-этнографической работе Гиппократов «Airs Water Places», появившейся примерно в то же время, что и «История» Геродота, где автор сравнивает Азию (Малую Азию) и Европу, показывая их несходства во всех отношениях, в том числе и физическом, причем он соотносит как физические, так и поведенческие различия, с географическим положением этих областей. См.: Jones W.H.S. (translator, 1923). Hippocrates. Loeb Classical Library, Cambridge, Mass., 1962. P. 105.

этом историческом событии — коллизии столь очевидно различных культур и представлений о человеке — травматический стимул активизации изучения государств. «Что Геродот из Галикарнасса узнал путем изучения, излагается здесь», — писал Геродот, начиная свой обширный труд. «Чтобы воспоминания о прошлом не были стерты временем из памяти людей, и чтобы великие и чудесные деяния греков и чужаков (т.е. азиатов), особенно те причины, по которым они воевали друг с другом, не нужно было открывать заново»<sup>4</sup>.

Геродот был историком в классических традициях, фактически он был родоначальником этих традиций. Иными словами, Геродота интересовали взаимоотношения между государствами и, по его мнению, государства олицетворяли их политические лидеры. Его история является по существу конституциональной, в политических событиях и соглашениях прошлого она ищет санкции для событий настоящего. Таким образом, его исследование, с самого начала изучения культурного конфликта между Персией и Геллами, по сути, есть хроника политических событий, пронизывающих системы взаимосвязанных государств в мире, как его тогда себе представляли. Эта хроника, все части которой как сложного целого относятся лишь к войне как таковой, была составлена из наблюдений, легенд, обычаев и сказаний, — и Геродот часто разъясняет степень легитимности каждого из свидетельств.

Гениальность Геродота заключалась в том, что в своих интересах он вышел за рамки хроники политических событий. Он вел записи не просто о событиях, но и о людях. Для него сообщество в его современном представлении не существовало; т.е. его рассказы относятся к правителям, а не к их подданным. Его взгляды были классическими: между теми, кто властвует, и кто подвластен, такая пропасть, через которую не перекинуть мост общности интересов. Для описания трагедии армий хватает и одного слова, а неудача вождя описывается почти с любовной детализацией. Именно те, кто командовал людьми, кто одновременно был и орудиями, и субъектами Рока, именно их судьба предопределяет будущее других людей. Человеческая история есть повествование о героях, и для Геродота политический и культурный герой сливаются воедино. Только две с половиной тысячи лет спустя, в XIX в., с разрушением понятия героя как личности и возникновением общества в качестве героя, появилась «социальная история», которая, в свою очередь, стала предпосылкой для развития антропологического понимания всех культур.

Таким образом, чтобы что-то понять о божественном порядке, достаточно понять динамику судеб королей. Но сквозь все это просвечивает интерес к проблемам обычая и культуры, человечества и общества: то тут, то там — комментарии или короткие замечания, острая проницательность которых свидетельствуют о понимании Геродотом особой динамики человеческого поведения, что придает его «Истории» окраску более поздней антропологии.

<sup>4</sup> Godley A.D. (translator, 1925). Herodotus' Histories. Loeb Classical Library, Mass., 1969. P. 1.

Майрес<sup>5</sup> предположил, что Геродот признавал единство отдельной культуры, когда он говорил об отказе афинян на предложение о сотрудничестве с захватчиками персиянами, что они не могут сделать этого потому, что не могут быть вероломными по отношению к «родству всех греков по крови и речам, у нас общие и святыни господни, и жертвы, и сходный жизненный путь»<sup>6</sup>. Но не надо так уж делать из Геродота современного «культуралиста», присваивая ему понимание природы этнической идентичности через признание конформности к традиционным поведению и верованиям. Для него столь очевидной была тиранья обычая этой универсальной производной этноцентризма, что Геродот называет Камбиса (Cambyses) безумцем за то, что в Египте он издевался над верованиями и религией тех, кого завоевал: «Если бы всем народам было предложено выбрать самые лучшие из обычаев, — объясняет Геродот очевидное, — каждый поставил бы на первое место свои собственные; но им хорошо бы также убедиться в несовершенстве их собственных обычаев»<sup>7</sup>. Подобных замечаний у Геродота немного, хотя они и подтверждают его неявное понимание значимости многого из того, что было ему известно; но они, очевидно, были подчинены основному предмету его интереса. Они появляются как понятия, бесспорные для каждого живущего в те времена сознательного эллина, обеспечивающие представление о социально определенном и санкционированном образе жизни, об источниках понимания их собственной уникальности.

Тем не менее, несмотря на способность Геродота воспринимать динамику культурных контактов, его информация, по природе антропологическая, носит исключительно этнографический характер. Он писал политическую историю, но не смог избежать — и это его заслуга — детального описания поведения различных людей, вовлеченных в канву рассказа. Будучи подчиненной частью повествования, этнографические описания — часто в форме само собой разумеющихся деталей и почти никогда в оценочной форме — этноцентрических сравнений придают глубину и разнообразие иногда запутанным описаниям политических интриг и военных действий. Персы и ликийцы, вавилоняне и египтяне, скифы и массагетяне — все они привносят свои обычаи в повествование Геродота. В одном месте описываются особенности предпочтений в отношении того, что употребляется в пищу, в другом — способы производства пищевой продукции; в третьем — подробности структуры родства, но он описывает именно обычаи. Здесь нет представлений ни об униформности, ни о культуре, которые дали бы читателю нечто большее, чем экзотические детали, ярлыки, по которым легче идентифицировать отдель-

<sup>5</sup> Myres J.L. Herodotus and anthropology // In Marett R.R., ed. Anthropology and the classics. Oxford, 1908. P. 122–167.

<sup>6</sup> Godley A.D. (translator, 1925). Herodotus' Histories. Loeb Classical Library, Mass., 1969. P. 153.

<sup>7</sup> Там же. С. 51.

ные народы. Это происходит, я думаю, потому, что у Геродота, за исключением его смутного ощущения врожденной этнической идентичности по крови, языку и религии, не было реального ощущения культурной целостности, функционирующей в качестве поведенческих рамок, внутри которых только и может существовать социальное сообщество. Эта была концепция — плохо различимая или отвергаемая как самоочевидная, — которой предстояло быть открытой в качестве новой и революционной истины, только в XVII в.

Геродоту не хватало чувства антропологической проблематики. Он пытался понять человеческую природу. Разъяснений требовала война между персами и греками и, возможно самое важное, победа греков, несмотря на противоречивость шансов на нее и логики исторических событий. С помощью этой победы греки и в особенности афиняне с их ведущей позицией и в военном, и в нравственном отношении получили властные полномочия и лидерство в Классическом мире; за этот короткий период гегемонии появилась возможность умственного самоанализа, целью которого было выявление источников, природы и обязанностей этой новой роли. И не в последний раз национальное лидерство и межнациональная власть породили процесс самоанализа, и это не было единственным случаем, когда мир людей и наций стал зеркалом, в котором каждый пытался отыскать значимость собственной сопричастности с другими.

История антропологических интересов, т.е. история интереса к обычаям, связана с изменениями информационных возможностей, движениями социальных потоков, которые попеременно открывали и закрывали пути к познанию других народов с их различными обычаями. Геродот не придумал этот жанр. Его ссылки на свидетельства других указывают на обширный объем сведений, почти наверняка полученных из рассказов путешественников и купцов, двигавшихся вслед за экспансией греческих территориальных интересов. В то время, как колонии городов-государств постепенно подчинили влиянию Греции все Средиземноморье с VIII до V в., накапливались знания, которые сами по себе порождали реальные вопросы о природе национальной идентичности. После разгрома Персии, они, возможно, стали центром осознанного интереса.

Конечно, связь политических и торговых завоеваний с накоплением этнографических деталей не была уникальной ни для классической Греции, ни для более поздней европейской традиции.

Нидхэм (Needham), например, в своей мастерской компиляции источников китайской науки кратко описывает<sup>8</sup> литературный жанр, существовавший приблизительно с начала эры христианства до XV в., связанный с описанием встреч людей, увиденных в ходе политической и торговой экс-

<sup>8</sup> Needham J. Science and civilization in China. Vol. 3: Mathematics and the sciences of the Heavens and the Earth. Cambridge, 1959. P. 508–514.

пансии Китая. Эти описания также не имеют теоретической значимости или проблемной ориентированности. Подобно таким же, но более поздним европейским сообщениям, они служили только как информация, используемая для повышения эффективности политической и экономической активности. Это были скорее компиляции и собрания сведений, чем систематическое осмысление социального поведения. Тем не менее представляется интересным тот факт, что и в этом случае существует связь между политической экспансией и развитием описательной этнографии.

Подобные сообщения существуют и у другого могущественного завоевателя — ислама. В литературных трудах мусульманских географов приведены описания о простых людях с новыми или странными для них обычаями.

Когда оба вида этих этноисторических источников будут более полно изучены, можно будет более точно оценить степень осведомленности о культурном многообразии, характерном для того исторического периода, сравнить типы описаний и выявить в них отсутствие проблемной ориентации. Сколь бы интересными ни были эти ранние сведения и сколь бы важными они ни считались для исторической реконструкции и проверки этнологических выводов, в них полностью отсутствует антропологическая проблематика. Точно так же, как и в других областях науки, этот проблемный аспект в антропологии можно считать уникальной чертой более поздней европейской традиции.

Классический интерес к природе человека — своего рода гуманизм как ценная и жизненно важная составляющая этого периода, благодаря которому и труд Геродота имеет определенное теоретическое значение — размывается и уплощается в более поздних хрониках, для которых он служил моделью. И так еле заметная в интересах древних греков, антропологическая проблематика совсем исчезла в работах их преемников.

Это отсутствие особенно удивительно для Римской империи, экспансия которой охватила народы в пределах, значительно превосходящих те, что были известны Геродоту и его современникам. В то же время в литературных источниках очень мало внимания или интереса уделяется основаниям системы социально определенного и санкционированного поведения, позволяющего идентифицировать человека и придающего значение человеческим различиям. Восхождение Рима и постоянное расширение его гегемонии, особенно после окончательной победы над Карфагеном в III в.н.э., очертила некие мировые рамки бытия человечества: Рим как бы стал богоизбранной моделью для всеобщего упорядочения. Экспансия римского гражданства, основанного на служении государству, а не приверженности этническому или расовому происхождению, легендарная гетерогенность римских корней, осознанная политика переселения народов, прагматическое строительство имперской системы, объединяемой единой политической сетью, поддерживаемой экономическими отношениями, и сложными коммуникативными связями — все это обеспечивало чувство единства, внутри которого различия

представлялись незначимыми. Таким образом, оказалось совсем не трудно, по крайней мере теоретически и в мечтах, идентифицировать все человечество с Римом.

Так, Плиний, извиняясь за такую краткость описания Италии в своей «Естественной Истории»<sup>9</sup>, выражает это чувство более естественно, чем этого требовал шовинистический пыл: «Я хорошо осознаю, что меня могут счесть неблагодарным и ленивым, если я стану в небрежной и поверхностной манере описывать землю, которая есть колыбель и мать всех других земель, божьим провидением выбранная самой сделать и прославить рай земной, объединить разрозненные империи, сделать нравы кроткими, соединить единством языка различные и странные наречия такого количества народов, создать человеческую цивилизацию, одним словом, стать единственным в мире отцом наций. Но что я должен сделать?». Столь постоянным и простым было допущение о полном совпадении политической и культурной однородности, с такой готовностью перестали придавать значение традиционным различиям в понимании сущности человека и истоков его поведения, что Рим был вообще неспособен понять нежелание иудеев, помнящих о своем божественном происхождении, растворить собственные обычаи в общих римских традициях или сделать из своего бога всего лишь еще одного Юпитера.

Если бы различия не были важными с любой теоретической точки зрения, они не породили бы такого множества трактатов о Человеке, а оставались бы только предметом интереса коллекционеров и собирателей экзотики, причудливыми элементами скорее развлечения, чем обучения. Именно это можно видеть в энциклопедической «Natural History» Плиния Старшего (d.79 A.D.). Хотя к достоинствам Плиния, как и много позже Линнея, можно отнести тот факт, что он включил человека в свое обзорное описание естественного мира — доминиона Рима, — он все же не избежал искусственной систематизации и упорядочения фактов, что обычно происходит при рассмотрении других природных феноменов. Нормальное и ненормальное, естественное и абсурдное, фактическое и вымышленное — все втиснуто в беспорядочный географический каталог распространения человека. По ходу дела он пытается компилировать данные, всегда заимствуемые из вторичных источников и имеющие сомнительную аутентичность. Они привлекают внимание к индивидуальному разнообразию и отклонениям биологического и поведенческого характера; в результате их накопление мешает реальному пониманию огромного разнообразия, охватываемого доминионом Рима. И не существует ни принципа упорядочения, ни эмпирического смысла или стандарта, ни стремления к культурной практике, которые могли бы внести в эти тексты антропологический интерес.

<sup>9</sup> Rackham H. (translator). Pliny's Natural history. Vol. 10. London, Heinemann and Cambridge, Mass., 1969. P. 31–32.

Конечно, в латинской литературе существуют источники, из которых можно извлечь некоторые этнографические детали: работы военных историков, чьи пространные труды содержат фрагментарные, но нередко детальные описания практики римских завоеваний. Все это и сохранившиеся памятники в честь отдельных побед дают часто неприукрашенные описания реального поведения тех, кого приходилось встречать на военных границах. Для тех, кто занимается протоисторическим заселением на обширных окраинах Римской империи, эти источники этнографических деталей все еще представляют ценность, но, в отличие от Геродота, ни Тацит<sup>10</sup>, ни Ливий, ни Цезарь не видели в таких особенностях обычаев или исторических обстоятельствах какого-либо отражения человеческой природы. Во время римской экспансии было достаточно возможностей и случаев для описания культурных деталей. Но чего не хватало, так это каких-либо попыток заставить работать подобные описания на понимание более масштабных систем поведения, деталями которых они, по сути, и были. Здесь царство обычая, и в нем мы находим прочное основание для этнографической традиции, которая поначалу просто санкционировала любознательность, а потом — жесткий научный эмпиризм.

Единству Римской империи противостояли свои собственные успехи; политическая консолидация обеспечила оправдание идеологии, где очевидное разнообразие культурных систем не имело значения. История Рима после достигнутых успехов консолидации во времена Антония во II в. до н.э., с точки зрения исторической ретроспективы, является примером постепенной социальной фрагментации под давлением развивающегося религиозно-политического конфликта внутри и распространяющихся народных движений извне, которые, возможно, стимулировались успехами Рима. Это был длительный период постоянных угроз, кризиса и изменений, когда гигантская империя, построенная на фикции культурной однородности, пыталась адаптироваться ко все увеличивающемуся разнообразию интересов и практик, которые и пытались прикрыть эти вымыслы. Конечной реакцией на такие давления было вытеснение секулярных традиций и замена их либо постоянной вовлеченностью в текущий кризис, либо уходом из беспокойной реальности в безопасность и святость мистицизма, аскетизма или любой другой идеологии неземного мира. Развивающийся конфликт между текущими ин-

тересами государства и духовными заботами формирующегося христианского истеблишмента — наиболее успешного мистического эксперимента — стал отражением этой развивающейся дихотомии. На другом фронте географический и политический прорыв империи был источником длительного и беспорядочного процесса социокультурной фрагментации, который в течение тысячелетия налагал паттерны изоляции на сообщества Европы и Средиземноморья. Результатом этого стал глубокий провинциализм возникающих географических центров. Успехи воинственного ислама в VII и VIII вв. открыли снова путь к изучению классической Греции, но в то же время лишь усугубили изоляцию Востока от Запада; а последующая экономическая депрессия изолировала Северную Европу от Средиземноморья и каждое маленькое политическое образование от других таких же<sup>11</sup>. Это не было временем интеллектуальной отвлеченности, когда незаинтересованные наблюдения человеческого разнообразия способствуют антропологической настроенности, либо временем самоанализа, который ставит вопросы о человеческой природе, являющиеся основной проблемой антропологии. Несмотря на расширяющееся миссионерство христианства, которое институционализировало сохранение и продолжение определенных направлений исследований, они, за редким исключением, не имели антропологического значения и носили исключительно прагматический характер, служа только целям Церкви. Хотя и может выглядеть исторически некорректным рассматривать этот период как время интеллектуальной стагнации или социальной стабильности, но возникновение многочисленных центров экономической, политической власти и затяжной конфликт между этими силами — светскими и религиозными — за жизненное пространство делали этот период ориентированным на текущие события, а его проблемы, я думаю, вряд ли соответствовали развitiю антропологических исследований.

Конечно, в течение Средних веков появлялись иногда описания обычаев. В основном они следовали не критической традиции Плиния<sup>12</sup>. И по мере того, как источники данных все более отдалялись от их базы наблюдений, они все более приобретали характер мифов и легенд. Это были тексты, написанные в распространенных тогда жанрах травников (*herbal*) и бестиариев (*bestiaries*) — компиляции ботанических и зоологических сведений, в которых факт и вымысел находились в постоянных столкновениях, из которых последний всегда выходил победителем. В такой литературе, где источником данных является предшествующий текст, ошибка переписчика оказывается более реальной, чем деталь наблюдения. Что представляется интересным в этой литературе, так это ее догматический характер, полное отрицание базы наблюдений, кото-

<sup>10</sup> «Германия» Тацита (*Tacitus' Germania*). (См.: *Hutton M. Tacitus' Germania* (revised by E.H. Warmington.) Loeb Classical Library, Cambridge, 1970), хотя и опирается на сообщения других, представляет собой интересный этнографический очерк о племенах центральной Европы. Это самый ранний пример «европейской этнографии», в которой матрилинейность, описывается политическое поведение на племенном уровне и предвосхищается экологическая адаптация. Тацит использовал чистоту родовых институтов как меру недостатков Рима, который погружается в вырождение, и его этнография является образцом «примитивизма», превозносящего достоинства варварства по сравнению с пороками цивилизации.

<sup>11</sup> См.: *Pirenne H. Medieval cities: their origins and the revival of trade*. Princeton, 1939.

<sup>12</sup> См.: *Hodgen M. Early anthropology in the sixteenth and seventeenth centuries*. Philadelphia, 1964. P. 49–74.

рая тогда была доступна, и ее очевидное потворство популярному интересу к абсурдному и извращенному. Именно это даже теперь привлекает к этнографическим деталям — описанию обычаев — массовый интерес и восторг до такой степени, что забывается необходимость их научной обработки.

Сдвиг политических границ позволил разрушить провинциализм Западной Европы и открыл возможность наблюдать чужеземные обычаи. Византия оставалась христианской и поэтому была хранителем европейских границ (и очень успешным) в Восточном Средиземноморье, торговым мостом между Востоком и Западом, который также способствовал распространению идей. А прочное присутствие в Испании мусульманства с его длительным культурным влиянием открывало широкую дорогу, по которой сохранившиеся материалы и методы греческой традиционной школы проникали в развивающиеся образовательные институты Европы. Были, однако, и Крестовые походы, с которыми масса европейцев попала на Восток и которые сделали возможным реальное наблюдение существенно разных систем поведения, которые стратегия конфликта наделила мистическими подробностями. С этнографической точки зрения, однако, непосредственное влияние было весьма слабым; для таких контактов, как, например, в рамках устойчивых торговых сетей, все было слишком перекрыто значимыми и настоящими сиюминутными задачами, чтобы допустить роскошь бесстрастного наблюдения или риск культурного самоанализа. Все те описания, которые тогда появлялись, оставались все еще фрагментарными, иллюзорными и сильно окрашенными этноцентрическими оценками, предпочтением легковренности по сравнению с недоверием.

Политические успехи заново распространяющегося в Западном Средиземноморье христианства и последующее экономическое восстановление Европы, отмеченное ростом торговых городов и расширяющейся системой континентальной торговли, изменили интеллектуальные позиции и обеспечили фундаментальный сдвиг в мировоззрении в светскую сторону, основанной на эмпирике, секуляризации, которая торжественно открыла современную эру науки и в которой можно увидеть смену направленности этнографических интересов.

Ренессанс как понятие в себе является не только удобным инструментом для описания исторического периода, но также служит важным символом перемен в культурной истории Западной Европы, перемен, которые теперь окрашивают сам термин тоном одобрения. Несмотря на относительно поздний интерес к этому периоду историков, особенно тех, кто в прошлом ищет истоки настоящего, эпоха Ренессанса представляет собой самое подходящее время<sup>13</sup>. Это был плодотворный период культурных инноваций и ши-

<sup>13</sup> Hay D. The place of Hans Baron in Renaissance historiography // In A. Molho, J. Tedeschi. Renaissance studies in honor of Hans Baron. Firenze, 1971.

рокой осведомленности, который заложил существенные основы, на которых и выросло настоящее время<sup>14</sup>.

Ренессанс прочно утвердил светскую традицию и в социальной жизни, и в сознании с последующей проверкой ее ценности скорее путем использования, чем на уровне веры. Несмотря на то, что конкретные исторические факторы, обусловившие возникновение этого особого, если не совсем нового, подхода к жизни, достаточно разнообразны, и поэтому представляют собой устойчивый предмет исторического анализа и интерпретации, два события, произошедшие в XV в. имеют абсолютно важное значение: открытие и быстрое распространение книгопечатания со сменным шрифтом и окончательное падение Константинополя в связи с турецкой победой. Оба события произошли в середине столетия, и их хронологическая связь с культурным расцветом к концу этого века слишком тесна, чтобы быть простым совпадением. Первое событие сделало возможным быстрое распространение новых знаний с последующим распространением интеллектуальной независимости, которая укреплялась индивидуальным владением первоисточниками; второе — переместило центр торговли и классической традиции из стародавнего центра в Константинополе в итальянские города-государства, которые прежде были его экономическими и иногда политическими сателлитами. Ко второй половине XV в. географическое положение городов Италии позволило им стать эффективными посредниками между христианским и мусульманским миром, между расширяющимися европейским и восточным обществами. Взятие Константинополя имело и дополнительный эффект, более важный своими последствиями, чем обещаниями, — перекрытие торговых путей в Азию, которые, по крайней мере с XIII в., использовались миссионерами, а по мере дальнейшего процветания, итальянскими торговцами. Потребовались капиталовложения в поиски новых торговых путей, новых источников сырья и экзотических материалов и новых рынков, поскольку при условии, что существование и благосостояние коммерческих западных государств зависело от успешности торговли и банковской деятельности, это было необходимым условием. Португалия и Испания были именно теми государствами Атлантики, которые стали пионерами введения в практику техники

<sup>14</sup> Конечно, объем литературы об эпохе Ренессанса огромен, и в мои намерения не входит глубокий анализ ни этого периода, ни этой литературы. Любой подобный сложный исторический период можно рассматривать с различных точек зрения. Мне представляется подходящей позиция, которую представляют Броновский и Мазлиш (*Bronowski J., Mazlish B. The Western intellectual tradition: from Leonardo to Hegel. N.Y., 1960.*). О развитии этнографических исследований и антропологических интересов, относящихся к XVI и XVII столетиям, необходимо обратиться к справочнику (*vade mecum*) Ходгена (См.: *Hodgen M. Early anthropology in the sixteenth and seventeenth centuries. Philadelphia, 1964*), а для более краткого и частного ознакомления см. у Рова (*Rowe J.H. The Renaissance foundation of anthropology // American Anthropologist. 1965*).



навигации, что позволило расширить возможности морских путешествий и, сделав это необходимым средством, стимулировало открытие новых обходных путей мимо исламских стран к Африке ниже Сахары и Азии, и которые со временем сделали доступными наблюдению новые миры, о реальном существовании которых прежде и не ведали.

Одним из значимых проявлений ренессансных построений было возобновление интереса к деталям. Например, в искусстве его появление, которое отразилось на фресках конца XIV в., отчасти можно приписать влиянию богатого деталями реализма римской настенной живописи. Однако настоящая радость открытия естественных деталей проявилась в работах XV и XVI вв. Мадонны и святые все еще занимают передний план, передавая силу духовного мира своих покровителей, но за ними присутствуют прекрасно изученные и любовно прописанные детали мира, в котором живет наблюдатель и хорошо его знает. Возможно, художник никогда до конца и не понимал эзотерические идеи святого милосердия, которое эти фигуры символизировали, но он знал и постигал разумом и чувствами детали ландшафта и жизни, которые использовал в качестве фона. Тернер видит достижение пейзажиста эпохи Ренессанса в конструировании правдоподобного «иллюзорного пространства». Речь идет о реалистичном изображении деталей, поскольку это уже сделал художник в эпоху готики, но они должны вместе создавать иллюзию пространства, системы в себе, которая является достоверным базисом для определенного исторического события. Однако еще более важным является факт вовлеченности художника — а через него и зрителя — в воспринимаемое событие. Леонардо да Винчи превозносил личный опыт общения художника с природой по сравнению с воображаемыми реалиями прошлого: Что побуждает тебя, о человек, уходить из твоего дома в городе, покидать родителей и друзей и отправляться в сельскую местность через горы и ущелья, если не красота природного мира, которым, по размышлению, ты только и можешь наслаждаться посредством зрения; и, поскольку поэт всегда хочет состязаться с художником, почему ты не воспользуешься поэтическим описанием таких пейзажей и не останешься дома и не станешь подставлять себя под палящее солнце? Разве не будет более уместным и менее утомительным остаться в прохладе без движения и не подставляя себя болезни? Но душа ваша не может сама испытывать наслаждение от удовольствия видеть глазами, окнами ее прибежища, она не может получать отражение прекрасных мест, не может видеть тенистые ущелья, орошаемые игрой извилистых речек, она не может видеть многочисленные цветы, которые своими оттенками образуют гармонию, приятную для глаза, все другое, что предстает взору.

Однако этот интерес к наблюдаемому, это возобновление характерного для греков страстного влечения к бытию проявилось не только в искусстве. «Prince», написанный Макиавелли в 1513 г., «Utopia» Томаса Мора, написанная в 1515–1516 гг., и, в меньшей степени, современная им «La Monarchie de

France» Клода де Сисселя<sup>15</sup> свидетельствуют о таком же бесстрашном, хотя и заинтересованном внимании к деталям жизни — в этих случаях к умению управлять государством, что само по себе стало показателем степени интеллектуальной секуляризации. Каждое произведение представляет собой трактат о правлении, создание которого побуждалось стремлением описать реальную практику, а не высказывать моральные осуждения или строить идеальные системы. Это не столько поучения, сколько тексты, основанные на тщательном и умелом наблюдении того, что «есть», и умения избегать конструкции «должно быть». Макиавелли<sup>16</sup> писал: «С тех пор, как моим намерением является описать то, что может принести пользу любому, кто может понять это, мне кажется более безотлагательным постижение действующей реальности этих событий, чем оставить их содержание в простых конструкциях воображения... так велика пропасть между тем, как люди живут в действительности, и тем, как люди должны жить, что тот, кто повернет свое внимание от реально сделанного к тому, что должно быть сделано, будет изучать свои собственные развалины скорее, чем их сохранение».

Та же надежда на результативность наблюдений также характеризует новое направление, из которого должно было сформироваться методологическое ядро естественных наук. Галилей (Galileo), Весапиус (Vesalius) и Реди (Redi) были представителями новой школы, которые, отказавшись от повторяющихся и часто ошибочных утверждений своих предшественников, вернулись к отвергнутому эмпиризму заново открытых моделей древних греков. На основе проверки старого знания они создали новое и, что более значимо, установили эмпирический метод как основной инструмент познания. Отказавшись от очевидного комфорта стабильного абсолютного идеального мира платонизма и христианства, на основе своего собственного опыта они обосновали постоянную изменчивость реальности. Такой сдвиг придал новое значение различиям и в природе, и в человеке, поскольку даже они могут служить материалом для выведения некоторого разумного и осознанного порядка. Готовность, а точнее, горячее желание узнать внешний мир и включить его в орбиту и упорядоченность познания, сжать его до пределов человеческого понимания — именно эти надменность и смирение позволили эпохе Ренессанса так ясно предвосхитить универсализм и гуманность современных представлений о природе универсума и сущностного подхода к его пониманию.

Мерой партикуляризма в ренессансном видении места человека в мире природы можно считать то, что понятия порядка и системы, столь важные для наук, возникших из популярных начал эпохи, так и не применили к челове-

<sup>15</sup> Hexter J.H. Claude de Seyssel and normal politics in the age of Machiavelli // In C.S. Singleton, ed. Art, science, and history in the Renaissance. Baltimore, 1967.

<sup>16</sup> Там же. С. 405.

скому поведению. Это было увлечение деталями, накоплением наблюдаемых данных в мире опыта, нового пробуждения духа эмпирики, что привело к количественному росту различных и важных записей путешественников.

Начавшись в XV в., по миру прошла волна длительных путешествий, связанных с открытиями. Она почти сразу последовала за нормализацией торговых и политических связей, часто имеющих колониальный характер, между различными географическими точками и народами быстро расширяющегося мира. Хотя лишь малая часть этих передвижений породила сообщения об обычаях, они были достаточно доступными, порой в хорошо известной форме манускриптов, но чаще в виде книг, питающих жадное любопытство публики. В своей библиографии, хотя и пространно, Хаймс<sup>17</sup> смог перечислить только часть этой печатной продукции – около тридцати описаний относятся к XVI в., сорок – к XVII в. и шестьдесят – к XVIII в. Эти записки стали основным источником данных, из которых позже систематики и социальные философы строили свои концептуальные системы.

Что поражает в этих сообщениях, так это их прозаичность, детальная точность, которая сделала их очень важными этноисторическими документами, и просто отсутствие сенсационности. Те мифические существа и чудовища, которые, по предположению, заселяли далекие земли, исчезли сразу же, как только эти места были достигнуты. Путешественники, такие, как Мор (More) и Макиавелли (Machiavelli), были практичными и деловыми людьми: их интерес касался всего, что непосредственно и практично. Отсутствие у них идеологического рвения или системной догмы отчасти и обусловило их успех и придало их текстам спокойный описательный характер.

Описание Колумба «Люди этого острова Испания» (Columbus, «The people of this island Espanola»), краткое и выразительное по сути, является одним из ранних примеров этого. Он писал: «И на всех других островах, которые я нашел и о которых получил сведения, все ходят обнаженными, хотя некоторые женщины прикрываются листьями растения или накидкой из ткани... Они не придерживались какой-нибудь веры, не являлись идолопоклонниками, но все они верят в то, что все могущество и добро связано с небесами, и были твердо убеждены, что я, вместе со всеми кораблями и людьми, также спустился с небес, и с этой верой они воспринимали меня уже после того, как преодолели свой страх. Эта вера происходит не от их невежества, а, наоборот, по причине большой проницательности их ума, и они являются людьми, которые плавают по всем этим морям, так что поразительно, какое мнение они имеют обо всем... На всех этих островах я не увидел большого разнообразия ни в людях, ни в их манерах и речи. Наоборот, они все понимали друг друга»<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Hymes D. Preliminary bibliography for the study of the history of anthropology (mimeo). 1970.

<sup>18</sup> Цитируется по Хадлстону (Huddleston L.E. Origins of the American Indians: European concepts,

Даже этот проходной фрагмент свидетельствует о приятии таких людей, таких различий как части естественного человеческого мира.

В то же время увлечение эпохи Ренессанса коллекционированием породило новый жанр – письменное собрание обычаев, который установил границы, внутри которых эти новые данные могли быть поняты, классифицированы и представлены. Это было сродни кунсткамерам, зоологическим и ботаническим садам, где собиралась и демонстрировалась биологическая экзотика. Ходген относил «De Inventoribus Rerum» Полидора Вергила (Polydor Vergil), который был впервые опубликован в 1499 г. и многократно переиздавался в течение двух последующих веков, к наиболее раннему и влиятельному образцу такого синтеза. Хотя одной из целей Вергила было изучение происхождения человеческой деятельности, его работа является инвентаризацией артефактов и человеческих изобретений.

Ходген замечает: «Социальные институты и другие обычаи достаточно немногочисленны по сравнению с гораздо большим перечнем механизмов и приспособлений, искусств, ремесел, навыков, областей знаний и всего того, что мы теперь относим к изобретениям. Этот материал был также представлен в разбросанном и неорганизованном виде. Почти не было попыток классификации, а если и были, то скоро нарушались... (но) именно этот итальянский ученый эпохи Ренессанса был среди первых (если не первым), кто увидел необходимость обратить внимание на социальную и этнологическую активность человека, выделив его из теологического, космологического и биологического миров»<sup>19</sup>.

Хотя два последующих столетия следует рассматривать в качестве продолжение средневековой модели описания неестественного как естественного, а чудищ как реально существующих, к концу XVI в. уже сложилась устойчивая этнографическая традиция коллекционирования обычаев разных народов в расширяющемся мире и компиляции деталей в рамках одной работы, благодаря чему разнообразие становилось особенно очевидным. Ситуация была сродни той, которая преобладала в Греции, когда колониальная экспансия открывала расширяющийся мир перед увеличивающимся углом наблюдения. И не обязательно в подражание модели Геродота в этих описаниях данные использовались подобным же образом. Помимо их использо-

1492–1729. Austin, 1967), по его ценным компиляциям и обсуждениям ранних описаний и представлений о жизни американских индейцев, полученных от первооткрывателей и миссионеров, чьи данные породили проблему их происхождения. Несмотря на то, что эта литература имеет значение и для более объемного и детального обсуждения истории антропологии, достаточно просто упомянуть ее как еще один образец нового жанра описаний. Хадлстон также отверг часто повторяющееся обвинение первых испанцев в том, что они исключали индейцев из человеческих порядков, так что те вполне могли ускользнуть от христианских обязанностей.

<sup>19</sup> Hodgen M. Ethnology in 1500: Polydore Vergil's collection of customs. Isis, 1966. P. 318, 324.

вания для массового развлечения<sup>20</sup> – вечный соблазн – они более серьезно применялись как основа для сравнения и рефлексии, позволяющих западному обществу увидеть собственные особенности. Подобно тому, как художники использовали детали и топографию ландшафта, чтобы передать настроение, высветить, а не затенить центральную тему, так и этнографические детали, разрастающиеся коллекции разных обычаев использовались для создания фона, настроения в социальных комментариях, относящихся к непосредственным и локальным проблемам. «Утопия» Мора является, несомненно, одним из лучших ранних примеров такого использования; но также возросло количество философов, видевших в этих данных эвристический механизм для поддержания своего понимания социальной морали. Таким образом, детали обычаев поддерживали существующие системы; они не привели к созданию новых.

Одним из заметных ранних исключений из основного направления в этом жанре, привлекающих нас своей современностью, являются «Опыты» Монтеня (Montaigne's «Essays»), в особенности часть о каннибалах. Монтень (1533–1592) современен в том, что он идет дальше непосредственного использования таких данных для поддержания признанных моральных систем и заглядывает за их фасад, обнаруживая там больше, чем простое собрание обычаев. В деталях различного поведения людей – и, я думаю, исходя из серьезного и уважительного отношения, с каким они были описаны, – Монтень уловил особый смысл того, что есть род человеческий. Множество вариаций преподавало урок на тему о природе человека; и, отличаясь широтой охвата, отсутствием провинциализма и преодолением этноцентризма, точка зрения Монтеня была новой и по времени и по масштабу. Здесь снова заметны отголоски Геродота, но они звучат намного яснее, чем первоисточник, поскольку Монтень пользовался данными, отмеченными большими объемами и точностью понимания рангов и значений человеческого поведения.

К концу XVIII в. вряд ли была сколь бы то ни было заметная населенная часть Земли, которая не внесла бы свой вклад во все увеличивающийся кор-

<sup>20</sup> Взглянем, например, на отчет о путешествии Мартина Винтергерста (Martin Wintergerst, переиздано в 1963 году изд. Raven-Hart), который был опубликован в 1712 г. под длинным названием «Странствие пешком по Европе, на корабле в Азию, высадка в Америку и Африку и долгое пребывание в Вестиндской Швабии, или Отчет о путешествиях в течение 22 лет по указанным местам, и что важное там было увидено и замечено». «Странствие к Швабам» заканчивало его подробное описание следующим образом: «Если вы найдете что-то в этой истории моих путешествий, что заставит вас удивиться тому, как Божественное Провидение управляет и сохраняет миллионы людей и Его Путям... к Спасению человечества, тогда многое из того, что я пытался изложить на этих нескольких страницах, будет достигнуто. И, возможно, остальное может следовать из этого само по себе, может наступить покой, а именно, развлечение для ваших умов, поскольку такие произведения находятся среди самых полезных в светской литературе, читаемых без обиды и раздражения» (стр. 34).

пус данных о человеческих обычаях. Миссионеры, мореплаватели, торговцы, государственные чиновники, пилигримы, натуралисты и простые путешественники – все они двигались из урбанизированной Европы вслед за расширением империи; и в своих формальных и неформальных отчетах они описывали то, что видели заинтересованным, но беспристрастным взглядом, ставшим позднее идеалом профессиональной этнографии<sup>21</sup>. Серии отчетов иезуитов – миссионеров, открытые письма с просьбами о поддержке миссий; строгие записи натуралистов, такие, как длительное время не опубликованный материал о Лопарях (Lapps) Линнея (Linnaeus); дневники путешественников, таких, как Кук (Cook), – все они содержали сведения в основном ценностно-нейтрального (least-value-ridden) характера. Они привели к формированию традиции наблюдения и описания – нового эмпиризма – применительно к человеческому миру; и как таковые помогли сложиться объективной точке зрения, которая оказалась столь естественной для этнологов XIX в.

Одним из лучших образцов такого рода был трактат Джозефа Франсуа Лафито (Joseph Francois Lafitau) «Moers des sauvages ameriquaines, comparees aux Moers des premiers temps», опубликованный в Париже в 1724 г.<sup>22</sup> В качестве миссионера у ирокезов в период между 1712 и 1717 гг., Лафито пытался построить сравнительную этнологию, посредством которой могли быть разъяснены и неизведанные, и стародавние обычаи индейцев.

Он писал: «Я не был удовлетворен простым знанием природы индейцев, их обычаев и обыденной жизни, я искал в этой жизни и обычаях признаки самой глубокой древности. Я внимательно изучал самые ранние труды авторов, знакомых с обычаями, законами и привычками тех людей, с которыми они встречались. Я сравнивал эти обычаи между собой, и я признаю, что, хотя древние авторы пролили свет на некоторые догадки, относящиеся к индейцам, обычаи самих индейцев давали мне много больше для понимания и объяснения некоторых вещей, о которых было упомянуто у древних авторов»<sup>23</sup>.

Акцент, поставленный в последней мысли, показывает, что Лафито следовал по известному пути, намеченному в развитии сравнительной истории рядом его предшественников<sup>24</sup>. Лафито, однако, был слишком опытным на-

<sup>21</sup> Конечно, многие из этих описаний оставались неизвестными и неопубликованными (например, см.: Raven-Hart R. (editor). Travels in Ceylon 1700–1800. Colombo, 1963). Становясь известными благодаря историческим исследованиям, они дадут нам не только важные этноисторические сведения, но и материалы, которые позволят понять, как в этот период понимались культурные различия и какой была их значимость для определения человека.

<sup>22</sup> Fenton W.N. J.F. Lafitau (1681–1746), the precursor to scientific anthropology // South-western Journal of Anthropology. 1969.

<sup>23</sup> Там же. С. 179.

<sup>24</sup> Эта «историческая проблема» весьма отличается от спекулятивной истории социальных эволюционистов или интереса к динамике диахронных изменений, характерной для со-

блюдателем, чтобы размыывать значения его собственных данных историческими догадками; и, таким образом, его работа, не считая исторических выводов, стала важной и широкоохватной этнографией Ирокезов, в которой под серией уже стандартных заголовков он описывает образ жизнедеятельности «народов». Как замечает Фентон: «Лафито подчеркивал важность описания существующих культур в их собственных терминах». Таким образом, он сумел выделить среди других, тогда неизвестных институтов, классификацию системы родства, возрастную градацию, политическую организацию. Подобно Монтеню, который на концептуальном уровне использовал элементы обычая при изучении современности, Лафито стал методологическим предвестником более поздней этнографической деятельности.

Нарастающие объемы знаний об обычаях и понимании того, что они могут стать основой для конструирования и документального подтверждения становящихся все более популярными общих объяснительных систем и синтезов — или для их критики, — которые могут перевести эмпирические подходы к природе в естественную философию, привели к институционализации и профессионализации работы с такой информацией. Так, даже Хердер (Herder), несмотря на критику рациональной философии, которая стимулировала распространение уже известного, с высоты накопленных здесь знаний смог устремиться к пониманию человека, обеспечиваемому эмпирическими данными, полученными при изучении как современных примитивов, так и археологического прошлого. Он писал о возобновившемся интересе к постклассическим периодам.

Малоизвестная дорога к арабам была открыта с обнаружением мира памятников, при помощи которых они и изучались. Памятники средневековой истории также были открыты, хотя и с другой целью, а часть того, что все еще находится в земле, будет вскоре обнаружена, возможно, не более чем в течение полувека... Наши путеводители множатся и улучшаются: европейцы не находят ничего лучше, чем носиться по миру в состоянии философичес-

временных неозволюционистов — попыток выстроить некоторую общую историю или, по крайней мере, выделить те надежные универсальные процессы, которые лежат в ее основе. Намного ближе к сути дела, к способу использования для истории этнографических данных в течение XVII и XVIII столетий, находятся перемены в изучении классической цивилизации, которые имели место в последние десятилетия XIX в. и первом десятилетии XX; было признано, что значение классических институтов можно изучить более глубоко и точно за счет использования сравнительных данных — особенно в области религии. Зачинателем этого подхода был Эндрю Лэнг (Andrew Lang), но он нашел единомышленников в молодом поколении классицистов, таких, как Джейн Харрисон (Jane Harrison), Гилберт Мюррей (Gilbert Murray), Чедвик (H.M. Chadwick) и Майрес (J.L. Myres). Они считали себя исследователями традиционными классицистами, ограничившими себя рамками классических текстов. Современный интересный и значимый пример этого подхода можно обнаружить у Финли (Finley M.I. The world of Odysseus. London, 1956).

кого неистовства. Они собирают материалы со всех четырех сторон света и в один прекрасный день найдут то, чего меньше всего ищут: ключ к истории наиболее важных частей человеческого мира<sup>25</sup>.

Ценность таких наблюдений, относящихся к туземцам («natives»), увеличивала важность их собирания, причем не в качестве побочного продукта простого любопытства мореплавателя или миссионерской необходимости в поддержке. Когда Джеймс Кук вместе с натуралистом Джозефом Бэнксом (Joseph Banks) первыми ступили на землю Южной Океании, чтобы проследить с острова Таити за прохождением Венеры, он должен был, помимо других обязанностей, «наблюдать за национальным духом, характером, расположением и количеством туземцев»<sup>26</sup>. Позднее, во время намного лучше организованных экспедиций первой половины XIX в., в их состав специально включались те, кто отвечал именно за сбор информации о местном населении. Необходимость таких данных открыто поддерживалась фактом их использования при установлении новых торговых связей, тем более что финансируемые правительством риски подобного рода сами были выражением поиска способов национальной экономической экспансии. Так, в молодом возрасте Горацио Хэйл (Horatio Hale) проводил этнографические изыскания при первом американском предприятии такого рода — в экспедиции Уилкса (Wilkes) к Южной Океании с 1838 по 1842 гг.<sup>27</sup>

Все возрастающее осознание культурного многообразия в сочетании с возникновением как практических, так и теоретических проблем, для решения которых нужна была такая информация, стимулировала самооценку собирания этнографических данных; в то же время развитие социальной философии подстегивало интерес к человеческой природе. Такого рода интересы были переведены в организационные и институционализированные средства для кумуляции антропологических данных и проведения антропологических исследований<sup>28</sup>.

Например, само по себе недолго существовавшее Общество изучения человека (Societe des Observateurs de l'Homme), первое настоящее антропологическое общество, созданное в Париже в конце 1799 г., не было чем-то значительным<sup>29</sup>. Тем не менее его существование совпало по времени с амбициозно организованной Николя Боденом (Nicolas Baudin), но закончившейся

<sup>25</sup> Barnard F.M. Herder on social and political culture. Cambridge, 1968. P. 218.

<sup>26</sup> Cameron H.C. Sir Joseph Banks KB PRS. London, 1952. P. 18.

<sup>27</sup> Gruber J.W. Horatio Hale and the development of American anthropology // Proceedings of the American Philosophical Society. 1967. P. 5–35.

<sup>28</sup> В своей книге, опубликованной в 1970 г., Моравия (Moravia) описывает конвергенцию интересов во французской интеллектуальной среде в конце XVIII столетия, что, казалось, «требовало» такого развития.

<sup>29</sup> Slotkin J.S. Readings in early anthropology. N.Y., 1965. P. 15–21; Moravia S. La scienza dell'uomo nel Settecento. Bari, 1970. P. 80–112.

неудачей научной экспедицией в Австралию, одной из целей которой был систематизированный сбор антропологических данных. Джозе-Мари Дежерандо (Joseph-Marie DeGérando) написал продуманные и объемные воспоминания, целью которых было проследить эту попытку<sup>30</sup>. Мемуары, Общество и экспедиция — все было неэффективно. Однако вместе они символизировали новый подход, который должен был характеризовать организованную этнографическую деятельность в XIX и, в основном, в XX столетиях: центральная задача систематического сбора организованной совокупности данных в рамках набора серий категорий предполагала охват всего ряда характеристик человека — «физических, интеллектуальных и моральных». В рамках этой вызревающей традиции этнографического исследования разрабатывались программы и опросники, очертившие рамки, внутри которых собирались и накапливались сравниваемые и сравнительные данные по всему миру. Внезапное осознание того, что такие данные могут очень скоро исчезнуть в процессе быстрой европейской экспансии, которая и сделала их доступными, стало более сильным и непосредственным стимулом для институционализации этой деятельности.

Кребер<sup>31</sup> рассматривал примитивную этнографию и концепцию культурного целого как две уникальные характеристики антропологического исследования, отличающие его от других подходов, которые область исследования разделяют с другими дисциплинами о человеке и природе. На этих страницах я попытался описать кое-что, характеризующее развитие первой (этнографии) — интерес к обычаям экзотических народов — вплоть до периода, когда в начале XIX в. появилась организованная и осознанная наука о человеке, и началось ее постоянное и заметное развитие, продолжающееся вплоть до настоящего времени. Теперь необходимо обратиться к истории другого понятия — *культура*, а не *обычай*, *система* поведения, а не *собрание* поведенческих черт. Несмотря на то, что понимание и развитие этого понятия питается и поддерживается легкой доступностью информации об обычаях, оно является отражением другого интеллектуального интереса и определением иной научной проблемы.

### Культуры

Даже у Геродота можно видеть признание этнической идентичности, которая сама по себе санкционирует социальное объединение и поведенческую конформность в отдельных человеческих сообществах. Однако вплоть до XVIII

в. концепция непрерывности исторической реальности, т.е. имеющей границы и принудительную систему поведения, упоминается в литературе о человеческих обычаях лишь мимоходом. Правда, категории поведения, признание которых следует связывать с культурными типами, так же стары, как и теории исторического развития в соответствии с выделенными стадиями. Любая система последовательных стадий в культурном развитии — и такие системы уже являются частью греческой литературы — представляет собой результат классификации культурных типов. Тем не менее это исключительно искусственные конструкты без учета социологической реальности; в них нет необходимой внутренней последовательности функциональных взаимосвязей между определяющими их характеристиками. На поведенческом уровне они аналогичны классификационным единицам Линнея в биологическом мире.

Хупперт<sup>32</sup> предполагает, что уже в конце XVI в. понимали разницу между двумя основными типами человеческого рода — цивилизации и дикости, различие, которое стало общепринятым к XVIII в. Несмотря на то, что в ходе эволюции общей исторической теории первый тип считался результатом развития второго, фактически они были противоположностями. Цивилизация, результат *civilitate*, в противоположность дикости «предполагает... использование письменности, но она означает также образ жизни, который не является ни «сельским», ни «аскетическим», она подразумевает определенную степень свободы и рациональности в противоположность простому следованию традиции... Она включает в себя развитие письменности, искусства и науки и, наконец, мораль, выходящую за рамки племенной традиции...»<sup>33</sup>. Как пишет Хупперт, автор в явном виде признававший такое различие — С. де ля Попелинье<sup>34</sup> (Sieur de la Popelinière), предложил исследовать и проанализировать развитие одного из другого посредством амбициозного сравнительного изучения цивилизованных и диких народов. Такое изучение, как ожидалось, должно было «потребовать продолжительных полевых исследований и научных экспедиций в Новый Свет, которые должны были финансировать голландские помещики». Этот план был, наверное, самым первым полномасштабным, обоснованным полевым исследованием, ориентированным на решение антропологической проблемы. Однако Попелинье, как и более поздние исследователи развития в рамках рационалистической традиции, рассматривал цивилизацию и варварство как культуры, т.е. как системы поведения, согласованные с функционирующим обществом. Эти категории означали типы человеческого существования, идеальные состояния и не относились к специфическим образам жизни.

<sup>30</sup> DeGérando J.-M. The observation of savage people. Translation of *Considerations sur les méthodes à suivre dans l'observation des peuples sauvages*, 1800. Berkeley, 1969; Moravia S. La scienza dell'uomo nel Settecento. Bari, 1970. P. 223–238, 365–396; Slotkin J.S. Readings in early anthropology. N.Y., 1965. P. 21–28.

<sup>31</sup> Kroeber A.L. The history of the personality of anthropology // *American Anthropologist*. 1959. P. 403.

<sup>32</sup> Huppert G. The idea of civilization in the XVI century / In A. Molho and J. Tedeschi. Renaissance studies in honor of Hans Baron. Firenze, 1971. P. 759–769.

<sup>33</sup> Ibid. P. 767.

<sup>34</sup> Ibid. P. 768.

Только при появлении социетального самосознания в конце XVII в. и его более интенсивного развития в XVIII эти рационально построенные исследования стали ориентироваться на решение проблем человеческой природы, коренящихся в социальном существовании, и особенно на очевидные проявления социальности, связанные с природой управления или политики. Именно этот интерес обусловил эксплицитную формулировку идей, относящихся, во-первых, к природе социальных институтов как особых систем, а во-вторых, к способам взаимодействия этих институтов и практических действий, налагающим ограничения на людей и управляющим их поведением. Джамбаттиста Вико (Giambattista Vico) был, наверное, наиболее ревностным из тех, кто, видя культурную обусловленность человека, признал новое измерение в его бытии. Вико полагал, что в своем открытии культурной системы как исторической реальности он действительно вышел на новое знание, *scienza nuova*.

Вико родился в 1668 г. в Неаполе, который лишь слегка был затронут интеллектуальными революциями, характерными для позднего Ренессанса. Он опубликовал первое издание своего большого труда о природе человеческого общества и его истории – классическое, по сути – в 1725 г., но только третье издание, существенным образом пересмотренное и дополненное, опубликованное через шесть месяцев после его смерти, представило его систему в наиболее зрелой форме.

Как указывали Бергин (Bergin) и Фиш (Fisch) в 1968 г., «хотя Вико творил и был опубликован в восемнадцатом веке, он был дитя века семнадцатого», поскольку его трактат фактически является частью великого собрания рациональных систем, связанных с попытками объяснить с позиций закона и секулярного процесса различные проявления божественного порядка природы. Это были великие с точки зрения метода и всеохватности системы, которые оформили интеллектуальный подход к природному универсуму на следующие полтора столетия вплоть до эпохи Романтизма, поставившей под сомнение сам разум.

Работа «I Principi di Scienza Nuova di Giambattista Vico d'intorno alla comune natura delle nazioni» представляется яркой попыткой последовательного объяснения природы человеческого поведения как основания для исследования и понимания разнообразных этнических проявлений того, что является общим для всего человечества. Это был действительно страстный труд, поскольку Вико с возбуждением визионера ощущал, что наткнулся на новую и ценную истину, которую он должен распространять и расширять. Он впервые раскрыл концепцию культур как унифицирующих механизмов, действующих в рамках отдельных человеческих групп или «наций» – этнических групп, как они будут называться позже. Такое видение предполагало не только радикальное отступление от общепринятого тогда представления о человеческом поведении как наборе обычаев или стадий развития; но еще более зна-

чимой была реакция на распространенное допущение о наличии стандартных, идеальных поведенческих систем, с которыми необходимо соотносить вариации поведения при их описании и оценке. Чтобы понять человека в рамках новой науки Вико, необходимо выделить общие элементы из историй различных народов с учетом самостоятельного развития каждого в соответствии с внутренней институциональной динамикой. Такое исследование обеспечит материал для сравнительной истории всего человечества в целом. Только так – и позднее антропология приняла эту форму сравнительного изучения современных культур – можно достичь обобщенного понимания процессов человеческого существования. В системе Вико, как отмечают Бергин (Bergin) и Фиш (Fisch): «Понятие “Нация” этимологически означает “рождение” или “рожденный”, и, следовательно, расу, род или семейство, имеющие общее происхождение или, более широко, общий язык и другие институты... – здесь возможны три разных акцента одного значения. Во-первых, в идеальном или типичном смысле важна не сама раса или линидж, а система институтов. Во-вторых, ... предполагается, что нация отделена от других не для того, чтобы обеспечить чистоту расы, а для того, чтобы ее система институтов развивалась независимо от других, и чтобы совпадения между системами не приписывались культурной диффузии. В-третьих, нация не идентифицируется просто в разрезе набора институтов, разделяемых группой людей в данный период времени, но определяется генетически системой постоянно изменяющихся институтов, что вызвано не внешними воздействиями, а внутренними напряжениями, своего рода собственной логикой, среди которых, например, классовая борьба играет принципиальную роль. Для каждой системы это не только сам факт первоначального индивидуального рождения, но непрерывное зарождение новых институтов внутри нее, постоянная трансформация старых, и даже возрождение нации после ее гибели».

Чтобы избежать риска интерпретации идей Вико, относящихся к природе человека, в духе его времени, представляется полезным перевести его видение в современную антропологическую терминологию для того, чтобы более полно оценить последующее влияние его идей или деталей самой его работы. Признавая категориальную природу его доводов, функции как интеллектуального стиля эпохи, так и его собственного ощущения новизны своего учения, мы можем перечислить элементы системы, вместе составляющие определение человеческой природы в социоисторических терминах, и способы постижения этой природы.

1. Самое главное: Вико полагал, что человека отличает от остального животного мира изобретение институтов. Именно способность к «культуризации» и создает человека. Вместе взятые, такие институты могут быть приравнены к основному понятию культуры, принятому в современной антропологии. Таким образом, писал Вико, «в густом мраке, который окутывает ранние античные времена, такие далекие от нас, сияет вечный, никогда не

угасающий свет правды над всеми вопросами: мир цивилизованного общества, конечно же, создан людьми, поэтому и принципы его функционирования надо искать в модификациях нашего человеческого сознания. Любой, кто размышлял над этим, не может не удивляться тому, что философы направляли всю свою энергию на изучение природы, которую создал и знает только Всевышний, но пренебрегали изучением мира наций, цивилизованного мира, который, будучи созданным людьми, ими и должен познаваться»<sup>35</sup>. Развитие институциональной системы, посредством которой определяется только человек, не было, следовательно, «действием существ, которые уже были людьми, но скорее, в процессе создания самих институтов и происходило их становление. Таким образом, чтобы постичь человека, необходимо понять процесс первоначального появления таких институтов и их последующего развития.

2. Метод исследования этих институциональных систем зиждется в большей степени на использовании реальных источников, чем исключительно на уровне разума. Утверждение этого эмпирического требования было центральным для подхода Вико, и он считал это главным открытием. «Раскрывая, каким образом зародилась первая человеческая мысль в мире (*gentile world*), мы столкнулись с большими трудностями, которые стоили нам добрых двадцати лет исследований. Мы должны были спуститься с уровня человеческой и развитой нашей природы к тем первобытным и диким натурам, которые мы даже не могли вообразить, а осмысляли с большим трудом»<sup>36</sup>. Для него миф и фаблю должны стать источником данных о более простых и ранних состояниях [человечества] подобно тому, как более поздние исследователи этой же проблемы находят свои данные в сравнительной этнографии»<sup>37</sup>.

3. Вико проводил различие между общей человеческой культурой или, возможно, природой, которая представляет собой «универсальные и неизменные принципы..., на которых базируются все нации» и которые являются основой для описания «идеальной вечной истории, бороздящей океан времени с помощью историй отдельных наций», и отдельными культурами, «бесчисленным разнообразием обычаев» разных народов. Хотя основной целью

<sup>35</sup> Huppert G. The idea of civilization in the XVI century // In A. Molho, J. Tedeschi. Renaissance studies in honor of Hans Baron. Firenze, 1971. P. 96.

<sup>36</sup> Ibid. P. 100.

<sup>37</sup> «Из этого следует, что первой наукой следует считать либо мифологию, либо интерпретацию фаблю, которые были первыми историями о благородных нациях. Именно таким образом следует открывать истоки всех наук, равно как и наций...» (Bergin T.G., Fisch M.H. The new science of Giambattista Vico. Ithaca. P. 33). Любопытно, что сто пятьдесят лет спустя Эндрю Лэнг (Andrew Lang) использовал тот же аргумент в опровержение популярного тогда мнения Макса Мюллера (Max Muller) о том, что миф является результатом лингвистической ошибки. Именно такая переориентация мифа на изучение ранних стадий истории с конца XIX в. стала определять ключевое направление классических исследований.

его новой науки было понимание первого, его метод опирался на анализ именно отдельных данных. На самом деле это была сравнительная история; ее сходство в подходах и проблемах с более поздней и существующей сегодня сравнительной этнологией подчеркивается настойчивым акцентированием различий в происхождении и развитии каждой нации и как следствие отказ от концепции диффузии.

4. Именно модель отдельной культурной целостности и практический отказ от универсальной истории органической жизни является наиболее интересной и влиятельной идеей Вико. Хотя он специально выделяет случай естественного права («одна из самых главных забот этой книги — показать, что естественное право благородных сословий появилось независимо у разных народов, не знающих друг о друге»), совершенно очевидно, что он мыслил любую институциональную систему, то есть культуру каждой нации, как сложившуюся независимо и имеющую свою собственную историю. Такие истории, хотя фактически и обособленные, двигались параллельными путями в рамках системы, состоящей из трех стадий — Божественная — Героическая — Человеческая — поскольку такая динамика уходит корнями в природу и потребности человека. Это ранняя версия более поздней идеи психического единства человечества — с ее частными импликациями для культурной динамики, — которая стала важным основанием антропологической теории в конце XIX в. Он писал: «Наша новая Наука, должна, таким образом, показать, что провидение, так сказать, бережно сохранило в истории именно историю институтов, с помощью которых без человеческого осмысления или советов и часто вопреки человеческим замыслам упорядочило вес великий град человечества. Ибо, хотя наш мир создан как временный и разделенный на части, институты, установленные провидением, универсальны и вечны». Из этих отдельных историй появляется идеальная история, поскольку первый и несомненный принцип... состоит в том, что этот мир наций действительно был создан людьми, и поэтому его облик должен быть найден в модификациях нашего человеческого сознания».

5. При анализе институтов, особенно при реконструкции тех, которые конституировались на первой стадии, Вико подчеркивал значение социальной полезности, адаптивную природу тех устройств, которые своим первоначальным появлением отметили начало человеческого рода. Это означает, что «они истоками своими имели общественные нужды или человеческую выгоду и... они позже усовершенствовались по мере того, как талантливые люди осмысляли их»<sup>38</sup>. Признавая последовательность смены идей, мы не должны удивляться тому, что три основополагающих института и есть те самые, которые выделил Геродот, то есть религия, брак и семья, похороны и смерть, относительно которых «все люди согласны и всегда были согласны...».

<sup>38</sup> Ibid. P. 33.

Мы видим, что все народы, варвары точно так же, как и цивилизованные, хотя и возникли по отдельности, будучи отдалены друг от друга и во времени, и в пространстве, сохраняют эти три человеческих обычая: все имеют свою религию, все заключают пышные брачные союзы, все хоронят своих умерших. И ни у одного народа, даже дикого и грубого, нет других таких человеческих действий, которые обставляются такими тщательными церемониями и священной торжественностью, чем религиозные, брачные и погребальные ритуалы. В этом отношении согласно аксиоме о том, что «одинаковые идеи, рожденные народами, друг с другом незнакомыми, должны иметь общие основы для истины», всем народам должно быть предписано, что от этих трех институтов пошел род человеческий у всех них, и поэтому каждый народ должен благоговейно сохранять их, чтобы мир не вернулся к животной дикости.

Я посвятил Вико и его «новой науке» так много места потому, что она оказала непосредственное и косвенное влияние на развитие не только стиля в подходе к изучению человека, но и этноцентричного националистического Романтизма, который стал плодородной почвой для партикуляристской этнологии XIX столетия. Работа Вико поставила вопросы и заострила концепты, которые стали центральными для последующей истории антропологии. Она внесла свой вклад в интеллектуальную среду того направления европейской мысли, которое пронизывало целую область этнологических исследований и теории от Причарда (Prichard) до Боаса (Boas).

В 1769 г., всего через поколение после публикации «Scienza Nuova», Йоханн Готфрид Гердер (Johann Gottfried Herder) создал свое «Путешествие (Reise) по Европе», читая материалы и наблюдая различные формы правительства, языки и практику. Его записки, как и у Вико до него, отмечены не только радостью открытия систематических поведенческих различий, значимость которых рациональная философия минимизировала в поисках униформности человеческой природы, но и раскрыл свое собственное ощущение важности этих различий для понимания сущности человечества. Идеи Гердера были более точны, гуманизм более глубок, а стиль менее «барочен», чем у Вико. Если Вико принадлежал XVII в., то Гердер в своей ясности – XVIII. Но их идеи, теории человечества и культуры, методологии были в основном одинаковыми. Гердер также видел мир людей как построенный из постоянно изменяющегося набора различных культур разного происхождения, то есть исторических процессов; в то же время все они являются частью общего человеческого рода, а различия их проявлений есть функция предиспозиции человеческой природы. Гердер тоже считал, что индивидуальность человека определяется манерой культивирования того, что он получил из собственных ощущений или в процессе социализации; таким образом, каждое такое выражение в любой момент исторического времени в любой исторически различаемой социальной единице представ-

ляло собой культуру, то есть продукт этого культивирования. Гердер, отражая как вариабельность, так и важность политических институтов в многочисленных германских государствах, придавал особое значение правительству и политической структуре; но он признавал, что их форма в каждом отдельном случае представляла собой часть интегрированного набора институтов и практик, которым определяется каждая нация. Где Гердер развил идеи Вико, так это в его отчетливом понимании языка как унифицированного посредника, скрепляющего раствора, который объединяет эти отдельные элементы и обеспечивает, таким образом, общность ее постоянным различительным признакам. В то время как Вико видел происхождение человека в создании институтов, Гердер увидел это в изобретении языка. «Ни один человек не живет сам по себе; он вплетен в ткань целого: он есть только одно звено в цепи поколений, одна цифра в кумулятивной прогрессии своего рода»<sup>39</sup>. И именно язык является связующей силой, которая – сама по себе конечная и ограниченная – выделяет сообщество в пределах человечества. Взгляд Гердера на культурное многообразие привел его – как и Вико – к культурному релятивизму, который требовал искать значения, корни каждой культуры в ее собственной истории. Он не совершил ошибки и не говорил, что все культуры были одинаково ценными или «прогрессивными». Он утверждал, что каждая из них должна быть по праву уважаема, поскольку есть единственное и уникальное выражение человеческого сообщества в целостности человеческой истории. Он также не сделал упреждающей ошибки примитивистов, которые видели человеческую историю как отпадение от идеального состояния наивности, ближайшими представителями которого они считали дикарей. Он писал в 1773 г.: «Вы смеетесь над моим энтузиазмом по отношению к дикарям. Но не думайте, что вследствие этого я презираю достоинства наших манер и морали. Человеческая раса предназначена для прогресса своих сцен, образованности, манер. Горе тому человеку, который недоволен той сценой, где он появился, действует и живет! Но горе также и философу, который, создавая теории относительно человечества, манер и морали, знает только собственную сцену и осуждает предыдущую сцену как худшую. Если все участвуют в одной развивающейся драме, каждый должен проявлять новую и примечательную сторону человечества»<sup>40</sup>.

То время, когда писал Гердер, его стиль и, возможно, сдвиг локуса философских интересов обеспечили устойчивую значимость его взглядов в течение всего XIX столетия и далее. Являясь производной эпохи Просвещения, его взгляды все же сказались в центре появляющегося Романтизма,

<sup>39</sup> Herder J.G. Essay on the Origin of Language (1772) // In Barnard. 1968. P. 163.

<sup>40</sup> Цит. по: Lavijoy A.O. Herder and the enlightenment philosophy of history // In Lovejoy, Essays in the history of ideas. Baltimore, 1948. P. 170.



который должен был разрушить основные принципы этой эпохи. С другой стороны, акцент на культурах как на значимых и абсолютно самостоятельных единицах, на истории наций как необходимой основе для истории (или природы) человека, задал тон и обеспечил стимул для систематических этнологических исследований первой половины XIX в., которые, я полагаю, дали нам первые образцы науки антропологии, или этнологии. В этом развитии не может быть недооценен индивидуалистический дух той генеральной ориентации, к которой относится понятие Романтизма. Сдвиг от униформистских, универсалистских взглядов Просвещения в сторону зарождающихся национализмов и представлений об этнической идентичности — важных аспектов мировоззрения эпохи Романтизма — значимы для установления того интеллектуального набора, который обеспечил этнологии особую цель и ценность. Для эпохи Просвещения, писал Лавджой, один из самых талантливых учеников этого интеллектуального переходного периода, характерны «упрощение, стандартизация, избегание подробностей, исключение локальных вариаций и индивидуального разнообразия, по видимому, возникли из-за некоторой странной и досадной аберрации в отношении единства естественного порядка»<sup>41</sup>. Он продолжает описывать природу, фундаментальную природу перемены в сторону духа Романтизма: «Во всей истории человеческой мысли с трудом можно найти более глубокую и важную перемену в ценностных стандартах, чем та, которая появилась в момент широкого распространения противоположного принципа — когда начали считать, что во многих, если не сказать — всех фазах человеческой активности не только обнаруживаются разные достоинства, но само по себе это разнообразие по сути своей есть достоинство; и что в искусстве, в частности, цель не есть ни достижение некоего идеала совершенства формы в нескольких фиксированных жанрах, ни, с другой стороны, отображения того наименьшего общего знаменателя эстетической восприимчивости, который разделяется человечеством во все века, но, скорее всего, максимально возможное выражение богатства различий, которое, актуально или потенциально, существует в природе, в том числе и в человеческой, и — с точки зрения функции художника в связи с его публикой — пробуждения всех способностей понимания, симпатии и наслаждения, существующих в скрытом виде у большинства людей и, возможно, не подлежащих универсализации»<sup>42</sup>.

Именно этот сдвиг точки зрения в отношении роли человеческих различий в понимании человечества сделал такими интеллектуально значимыми и полезными концепции Вико и Гердера.

<sup>41</sup> Lovejoy A. O. *Optimism and romanticism* (1927) // Reprinted in James L. Clifford, ed., *Eighteenth century English Literature*. London, 1959. P. 338.

<sup>42</sup> *Ibid.* P. 338–339.

### Синтез

К концу XVIII в., как раз к тому времени, когда поиск вариаций универсальной человеческой природы надо было систематизировать и институционализировать, несколько интеллектуальных течений сошлись в одну точку, чтобы определить проблемы, которые развивающаяся этнологическая мысль была в состоянии разрешить самостоятельно.

Совершенно очевидной стала важная перемена в методе мышления, что указывало на падение значимости термина «философия» и ее практики в целом и одновременный рост популярности концепта «науки». Вообще говоря, для середины XVIII в. стала характерной неопределенность метода, который помог бы разобраться в быстро расширяющемся природном мире. Оправдать наименование этого периода как просвещения можно, только считая, что свет исходил сразу из многих источников, которые вместе быстро расширили горизонты видимого, одновременно создавая движущиеся тени и неясные границы познаваемого. Конечно, существовала колоссальная нужда в систематизации все возрастающей массы наблюдаемых деталей, которые уже были важным наследием эмпирического ренессанса. Более того, такая систематизация уже была в физических науках благодаря Ньютону, особенно его работе «Principia», и обеспечила базу для построения весьма упорядоченной, простой и рациональной системы для понимания мира планет. Хотя Ньютон был бы оскорблен целями и смыслом популяризации этой системы, осуществленной Вольтером, ее толкование в духе скептического секуляризма задало тон и стиль применения этого метода и в других областях познания. В мире, более близком к человеческим интересам и реальности, систематика Линнея обещала показать некий порядок в животном мире, который хотя бы немного приоткроет божественный замысел природы. И Ньютон, и Линней пробудили азарт и энтузиазм в поисках всеобщего синтеза; но это было также и отражением постоянного стремления держать под контролем все увеличивающееся количество данных в рамках некоторой всеобъемлющей схемы, суть которой схватывалась бы человеческим интеллектом сразу. Это была реакция на ненадежность хаоса, ставшего результатом случайного собрания данных, чья бессмысленность казалась столь же безвкусной человеку действия. Коротче говоря, это был иной стиль поиска понимания, который впервые требовал, чтобы знание было полезным для создания систем, которые облегчали бы постижение вселенной или ее создателя.

Особый интерес к великой системе, для которой работа Ньютона «Principia» была руководящей моделью, уже к концу столетия породил великое множество систем, построенных на умозрительных допущениях. Дедуктивная природа этих систем, увеличивающийся разрыв между теорией и необходимостью в эмпирических данных, а также высокомерие, с которым часто поддерживалось спекулятивное обоснование, привели к интеллектуальным

спорам, которые, по существу, едва ли отличались от ранней схоластики. Таким образом, к концу века просвещения возникла необходимость в возврате к эмпиризму и в возрождении Ньютонова духа — вплоть до метода Бэкона — примером которого был эмпиризм его «Orticks». Такой возврат на позиции познавательной осторожности, когда объединение данных и теории обеспечивает сбалансированное объяснение, отметил Вильям Хершел (William Herschel), астроном, который сам был одним из основателей новой английской науки, отмеченной здравым смыслом, объединившим факт и теорию.

Он писал в 1785 г.: «Если и можно надеяться на какой-либо прогресс в изучении этой деликатной материи, то необходимо избегать двух равно опасных крайностей. Если мы отдаемся фантастическому воображению и строим наши собственные миры, то не следует удивляться отклонениям от путей истины и природы;... С другой стороны, если просто добавлять наблюдение к наблюдению, без попытки прийти не только к определенным заключениям, но и предположениям, то мы погрешим против конечного результата, который достигается только путем наблюдения»<sup>43</sup>.

Объяснения, построенные на обоснованных данных наблюдения и имеющие границы применимости, — вот что стало определять цели науки, сложившейся — в пределах названного противоречия — к концу столетия. Это стало характерным для общего подхода к природе в XIX в. Молодой Джордж Гринаф (George Greenough), один из основателей эмпирической геологии в Англии, писал в 1805 г. в своем журнале об одном из новых эмпириков: «Поскольку сэр Джеймс (James Hall) так же искренен, как и усерден, наблюдает так же хорошо, как и рассуждает, и так же неравнодушен к экспериментальному исследованию, как и к теории, приверженность особому способу объяснения геологических феноменов не вызывает недоверия, но делает причину понятной, а мнение — вероятным»<sup>44</sup>. Возврат к осторожному эмпиризму задал тон для переработки этнографических данных и упрощения этнологической проблемы, характерный для первой половины XIX в.

Эта проблема была частично обусловлена рационалистским способом выделения человека из животного мира, который сам был классифицирован и упорядочен для лучшего понимания природы божественного замысла. Декарт (Descartes) и Локк (Locke) сосредоточили теоретическое внимание на уникальной природе человека как рационального мыслящего животного — на процессе мышления как характеристике человечества. Целью исследования рационалистов было описание отличия человека как вида, вне проблем исторического развития или пространственного разнообразия. Выделение разума как ядра человеческой природы, четкое разграничение сознания и тела в понима-

нии места человека в природе, которое было отчетливым проявлением духа XVII в., стало общей, хотя и спорной, реальностью в XVIII. Противоречия по обе стороны Английского канала в отношении его импликаций для проведения различий между человеком и животным лишь усилили предполагаемую реальность концепта. Какая бы позиция ни занималась в споре, она служила утверждению природы сознания в качестве центра изучения природы человека. Исследования языка, особенно в той форме, которая была предложена в начале века Кондийаком (Condillac) и принята его последователями, заложили основы для понимания сознания, а их методы предполагали, что к сознанию человека можно подойти на эмпирическом уровне<sup>45</sup>. Понятие универсальной грамматики требовало «связи между языком и мышлением. Оно было основано на простом соображении: если речь есть образ мысли и если мысль подчиняется законам разума, то и речь сама по себе должна представлять и иллюстрировать законы разума». А поскольку анализ языка позволяет обнаружить карту сознания, исследование процесса лингвистического развития через этимологию и историческое языкознание обеспечивает данные, значимые для понимания самого процесса мышления.

Таким образом, к концу столетия человек и его природа стали главной исследовательской проблемой. Такой интерес эмпирически проявлялся по-разному: увеличивающаяся точность исследований физических данных человека и его внутривидового разнообразия; развитие исторических исследований, в особенности природы универсальных исторических процессов, которые продвинули человека — единый вид с единой природой — от состояния дикости до цивилизованного; специфика природы человечества.

Определение Гердером культуры как человеческой единицы сделало возможным сдвинуть исследовательский фокус в сторону большего соответствия канонам новой науки — обновленного эмпиризма — первых десятилетий XIX в. Его ориентация, если не сами его работы, переместили акцент на индивидуальные культурные единицы, нации с их историями, имеющими пределы, и заменили попытки сложить из отдельных кусочков и осколков различных обычаев универсальную культуру, а затем извлечь из нее неизбежно умозрительную историю<sup>46</sup>.

<sup>45</sup> Aarsleff H. The study of languages in England 1780–1860. Princeton, 1967 (esp. ch.1).

<sup>46</sup> Веком позже сходную реакцию вызвал возрожденный историцизм, активизированный, но едва ли измененный за счет идей прогрессивной эволюции, новым поколением этнографических эмпириков. Как акцент на исследовании эмпирически доступных культурных единиц в смысле культурной антропологии Боаса, так и явный отказ от спекулятивных историй в пользу более ограниченного понимания социальных систем в духе появившейся социальной антропологии Рэдклиффа-Брауна (Radcliffe-Brown) и Малиновского (Malinowski) возродили эту тему. Хотя каждый из них шел своим путем, который вел к чистоте аргументации относительно цели, оба увидели безнадежность следования универсальной истории, основанной на манипуляциях чертами поведения, извлеченными и изолированными от их социокультурной матрицы.

<sup>43</sup> Цит. по: Hoskin M. William Herschel. London, 1959. P. 28.

<sup>44</sup> Rudwick M.J.S. Hutton and Werner compared: George Greenough's geological tour of Scotland in 1805 // British Journal History of Science. 1962. P. 124.

Акцент на культуре наций, на самих нациях как единицах, которые вместе образуют человечество и чьи истории вместе образуют историю вида, обусловил основания, на которых была построена описательная этнология XIX в. — историческая или эмпирическая. В письме сэру Вильяму Джонсу (William Jones), «открытие» которым санскрита стало выдающимся событием в поисках лингвистических корней, лорд Монбоддо (Monboddo) писал в 1789 г. следующее: «Я ожидаю (от развития сравнительной лингвистики Джонса) информации, относящейся ко многим любопытным вещам, связанным с историей Человека, а также Искусства и Наук. В этом дискурсе вы предлагаете раскрыть прекрасное поле для исследований, и если можно будет обнаружить центральную страну, из которой все перечисленные нации унаследовали сходство в языке, привычках и умениях, которые вы наблюдаете, то это станет величайшим открытием в изучении истории человека. Из трех названных вещей, посредством которых раскрывается связь между нациями, главной я считаю язык. Это было первое умение, изобретенное людьми и ставшее основой цивилизованного общества, а также других умений и знаний. И это первое из всех человеческих умений, которое должно быть наиболее устойчиво, проникает дальше всего и распространяется в наиболее удаленных регионах»<sup>47</sup>.

Приоритет, который Монбоддо присваивает языку в этнологическом исследовании, точно так же, как и его представление о внутренних границах исторического процесса, стали общепринятыми только через столетие, до такой степени, что признание изучения языка в качестве «истинного основания» этнологии и роли лингвистики в описании историй этносов стало общим местом. Такой акцент обнаруживается у Гердера и у тех, кто считал язык не только отличительной особенностью человека, но и наиболее явным выражением его сознания. После того, как Джонс сам опроверг существование универсального языка с единой синтаксической основой, начались этнологические дискуссии по вопросу человеческой исключительности. Если язык отражал сознание и если языки, будучи центрами культур, структурно значительно различались, то что можно было сказать о единстве человеческого мышления — этом сущностном постулате, на котором основывались понятия о природном универсуме? Этот вопрос о существовании значимых различий — в языке, в физических характеристиках, в обычаях, и важность этих различий для истинности представлений об исключительности человечества и униформности его сознания стал для последующей этнологии центральной проблемой. Ее признание и привело этнологию на порог современности. Значимость проблемы единства человечества при наличии этнического многообразия можно было бы обойти путем сознательного обращения к строгому эм-

пирическому описанию конкретных культур; но она бы не исчезла. Джеймс С. Причард<sup>48</sup> заслужил репутацию основателя этнологии из-за пристального внимания не только к деталям человеческого разнообразия, но и к обычаям, в которые объединял их, чтобы подтвердить уникальность человечества как в истории, так и в природе<sup>49</sup>. В то же время Самуэл Г. Мортон (Samuel G. Morton) был лидером американской этнологической школы, где на основе подобных данных утверждалось нечто прямо противоположное.

Этнология боролась с этой проблемой в течение первой половины XIX в. Формально она придерживалась эмпирической позиции, с которой цель этнологии виделась в описании человеческого многообразия и даже в сохранении культурных пережитков, которым угрожало разрушение под действием европейской экспансии<sup>50</sup>. Так, например, на встречах недолго просуществовавшего Этнологического общества в Лондоне в 1840 г. были представлены такие доклады описательного характера, как «Некоторые замечания о жителях Пиренеев» («A few remarks on the Inhabitants of the Pyrenees»), «О человеческом пелвисе» («On the human Pelvis»), «О монголах» («On the Mongols») (Ethnological Society MSS), а «Описательная этнология» Роберта Лазэма (Robert Latham), как и другие подобные работы, содержали всего лишь описание человеческих сообществ с точки зрения их поведенческих, физических и географических характеристик. Он писал: «Моей целью было только описание. Если этому сопутствовала определенная доля классификации, то очень хорошо. Если этот вопрос возникнет, то обсуждение можно продолжить. В любом случае это — лишь незначительная часть работы. Как я уже утверждал, это — просто описание».

Это сопровождалось полемикой между моногенистами, рассматривающими человечество как род с едиными происхождением и природой, и полигенистами, которые считали его разнообразие доказательством не связанных друг с другом историй и происхождений; спор так и не был разрешен. Аргументы, используемые одними, были так же убедительны, как и те, которые использовались другими. Тем не менее с открытием геологически документированной человеческой предистории<sup>51</sup> и использованием теории эволюции Дарвина применительно к проблемам истории человечества акцент в

<sup>47</sup> Cannon G. The correspondence between Lord Monboddo and Sir William Jones // *American Anthropologist*. 1968. P. 560.

<sup>48</sup> Prichard J.C. *The natural history of man*. London, 1845.

<sup>49</sup> Джордж Стокинг (George Stocking) подготовил издание книги Причарда «Researches into Physical History of Mankind», которая после первой публикации в 1813 г. выдержала несколько переизданий вплоть до 1847 г. Большое предисловие, которое написал Стокинг к этому изданию, впервые предложило объемное обращение к Причарду и его этнологии. Оно также предложило наиболее значимый анализ роли научного подхода Причарда к этнологии того периода.

<sup>50</sup> Gruber J.W. *Ethnographic salvage and the shaping of anthropology* // *American Anthropologist*. 1970.

<sup>51</sup> Gruber J.W. *Brixham Cave and the antiquity of man* // In M.E. Spiro, ed. *Context and meaning of cultural anthropology*. Glencoe, 1965.

исследованиях переместился с уровня народов или их разновидностей на уровень вида в целом. Центральной проблемой стала не история или происхождение вида как единицы, изолированной от природы, а его история как части природы. Включение человека в сеть органического универсума обещало эффективное перенесение представлений об общих природных процессах на решение отдельных вопросов развития человека и его институтов. Эволюция расширила исторический взгляд, поскольку на смену допущениям умозрительной истории пришли данные о предьстории.

В антропологии, широкоохватные вопросы которой родились для подчинения им этнологических интересов, изменилась значимость самих различий. Для этнолога, следующего традициям Гердера, каждая культура имеет свое необходимое — и значимое — место в установленном порядке человеческого многообразия: изучение каждой вносит свою лепту в понимание единого целого. Антрополог, принявший изменившуюся традицию, основанную на дарвиновском видении мира, занимался изучением постоянно изменяющейся — и на определенное время, прогрессирующей — живой природы, где каждая человеческая разновидность представляла особую ступень эволюции. При этом были снова извлечены и обновлены исторические периодизации эпохи Просвещения, и историческая концепция иерархической серии по-разному упорядочиваемых систем была санкционирована новой наукой. Традиционные этнологические интересы сохранялись и даже, согласно Боасу, процветали, но в это развитие вторглась идея нераздельности человека и природы, природных процессов. И с этим — при любых требованиях определенности — исследование человеческой природы стало частью исследования природы как целого.

*Пер. И.А. Урминой*

Урмина Ирина Александровна — старший научный сотрудник Института социальной и культурной антропологии Государственной академии славянской культуры.

**Х.ДЖ. М. КЛАССЕН**

## ЭВОЛЮЦИОНИЗМ В РАЗВИТИИ<sup>1</sup>

В первой части статьи будет представлен краткий обзор эволюционизма со времени его возрождения после окончания Второй мировой войны. Затем будут рассмотрены некоторые критические мнения, появившиеся в последнее время, против этого подхода и, в-третьих, я опишу в общих чертах некоторые новые стратегии исследований, выдвинутые в публикациях ученых — сторонников эволюционизма. В последнем разделе статьи я покажу некоторые возможности включения исследований в области родства в рамки этих новых тенденций.

На широком фоне враждебности и презрения в годы, предшествующие Второй мировой войне, Лесли Уайт и Джулиан Стюард героически боролись за возрождение интереса к эволюционизму. Их деятельность, кроме всего прочего, была вызвана растущей необходимостью упорядочения громадного фактического материала, собранного последователями подхода Ф. Боаса, в обобщающие концептуальные работы (Harris, 1968; Foget, 1975). После войны возрождение эволюционизма получило импульс, связанный, с одной стороны, с деятельностью этих двух ученых, а с другой — с заметным возрождением интереса к эволюции, вызванного столетием в 1959 г. главного труда Ч. Дарвина «Происхождение видов». В тот год прошло много симпозиумов и конференций, результатом одной из которых было появление хорошо известного тома «Эволюция и культура» под редакцией Маршалла Салинса и Элмана Сервиса (Sahlins, Service, 1960). Данная книга заложила основы последующего доминирования в области социального эволюционизма (на протяжении почти двадцати лет). Были, конечно, и другие ученые, которые работали в той же области в течение этого времени, но все они более или менее следовали модели, установленной Салинсом и Сер-

<sup>1</sup> Данная статья была впервые опубликована в 1989 г.: Evolutionism in Development // Wiener Beiträge zur Ethnologie und Anthropologie. Vol. 5. Wien, 1989. Ее автор — Хенри Дж. М. Классен (р. 1930) — известный голландский политантрополог, один из авторитетнейших специалистов в области теории происхождения государства, долгие годы работал над книгой о социальной эволюции, которая была опубликована в 2000 г. В этой статье в сжатой форме раскрыты основные проблемы, обсуждаемые в этой книге. Кроме этого, Классен — участник ряда общих проектов с советскими и российскими учеными. Одна из последних его совместных работ — коллективная монография «Альтернативные пути к цивилизации» (М., 2000), в которой Классен также написал большой раздел о социальной эволюции.